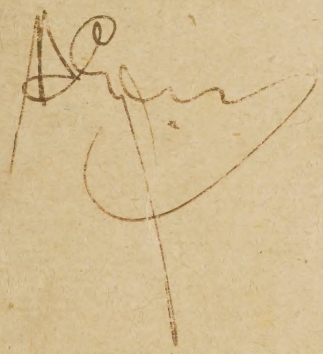
PG3358
.S6
B5

Д. БЛАГОЙ

КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ ПУШКИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПОЭТОВ
МОСКВА 1927

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3358
.S6
B5

EL
C
recat

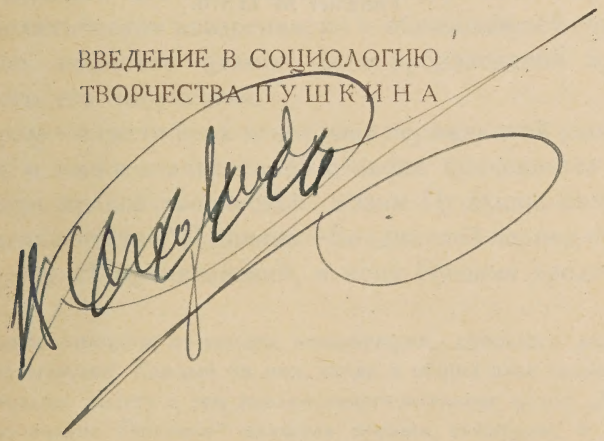
PG-3358
.S6
B5

Д. БЛАГОЙ

KLASSOVOE SAMOSOZNANI

КЛАССОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ ПУШКИНА

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
ТВОРЧЕСТВА ПУШКИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПОЭТОВ
МОСКВА 1927

Отпечатано в типографии
„Шестой Октябрь“ Сергиевского Промторга
г. Сергиев, Московской губ.
в количестве 4.000 экз.
Главлит № 73.578.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Социология творчества Пушкина не разработана почти вовсе. Между тем, социологический анализ произведений Пушкина приводит к весьма плодотворным результатам.

Три очерка, входящие в состав наших „Этюдов по социологии творчества Пушкина" являются тремя главами единого социологического исследования *).

В первом из них прослеживаются классовые переживания Пушкина во всей характерной их эволюции, не только питавшей его исторические раздумья и определявшей политические воззрения, но и образовавшей социологическую подпочву целого ряда произведений художественного его творчества.

Во втором—в свете этих классовых переживаний рассматривается и ими в значительной степени проясняется интереснейшая полоса творческой жизни Пушкина, своеобразное „декадентство" Пушкина—Болдинский период осени 1830 года,—цикл произведений, в коих Пушкин предстает

---

*) По обстоятельствам, от автора независящим, пришлось разбить „Этюды" на выпуски. Каждый из них, входя в общий план исследования, представляет вместе с тем вполне самостоятельное целое. „Классовое самосознание Пушкина" является первым, вводящим, в ряду „Этюдов", статья о Медном Всаднике—„Миф Пушкина о декабристах",—напечатанная в 4-ой и 5-ой книгах журнала „Печать и Революция" за 1926-ой год ,—частью третьего.

891.78
P987zBLa

родоначальником и предшественником не только Достоевского, но и нашего декадентства конца XIX и начала XX века.

Наконец, в третьем—показан последний этап социологической и художественной эволюции Пушкина—одновременное освобождение от „ущербных", „упадочных" классовых переживаний и замечательное литературное „опрощение", переход от повышенного субъективизма и романтизма „маленьких трагедий" и Болдинской лирики к широкому и „смиренному" реализму повестей Белкина и Капитанской дочки—рождение русской классической прозы.

„Классовое самосознание Пушкина" было прочитано в феврале этого года на одном из собраний „Литературного Звена" и повторено 11 октября с. г. во Всероссийском Союзе Писателей, оба раза явившись предметом оживленного обсуждения, в котором приняли участие: проф. Н. Л. Бродский, тов. Валайтис, В. В. Вересаев, Л. С. Гинзбург, Федор Жиц, Н. И. Кравцов, А. Лаврецкий, В. Л. Львов-Рогачевский и В. В. Леонович-Ангарский.

Пользуемся случаем выказать всем поименованным лицам и, в особенности, Василию Львовичу Львову-Рогачевскому и А. Лаврецкому, сделавшим нам ряд ценных указаний, свою живейшую признательность.

Повторяем, работа наша является первым опытом цельного социологического исследования творчества Пушкина. В качестве такового, она не может быть лишена ряда погрешностей и недочетов, за указание на которые мы заранее приносим свою благодарность критике.

15 октября 1926 года
„Дом Герцена"

Всякий писатель принадлежит к тому или иному классу. Но далеко не у каждого его классовая принадлежность доходит до полного осознания.

Пожалуй, ни один из наших писателей не переживал так остро своей принадлежности к определенному классу, так упорно и мучительно не размышлял о своем месте внутри этого класса и о судьбах своего класса в целом, наконец, не оставил стольких следов этих переживаний и этих размышлений в своем творчестве, как величайшая слава нашей литературы—Пушкин.

Эта классовая сознательность и классовое чувство Пушкина немало смущали позднейшую критику. Большинство наших критиков недоуменно пожимали плечами, торопясь пройти мимо того, что они вослед журналистам 30-ых годов называли „аристократством" Пушкина, „чванством" его своим „шестисотлетним дворянством". Для современного исследователя, ставящего своей задачей не столько располагать изучаемый им материал по условным категориям добра и зла, сколько об'ективно разобраться в том, что представляет собой действительный Пушкин-человек и Пушкин-художник внутри исторических рамок русской жизни первой трети XIX века,—этот вопрос в значительной степени утрачивает свою одиозность.

Наоборот, дворянское самочувствие Пушкина является для такого исследователя драгоценнейшим социологиче-

ским ключем, открывающим не одну дверь художественного творчества Пушкина, разрешающим, как нам представляется, немало загадок его творческой эволюции.

Установить природу классового самосознания поэта, его совсем особую окрашенность и своеобразные черты, наконец, замечательную трансформацию его в последний период его жизни—и составляет задачу настоящей работы.

1

Классовое, дворянское, сознание Пушкина, на первый же взгляд, тесно связано с его „историзмом", являющимся, как это установлено в работах многих исследователей, одной из основ его общего миросозерцания [1]).

Историзм поэта сказывался и в его особом влечении и повышенном интересе к прошлому России.

Известно с какой „жáдностью" юноша Пушкин накинулся на исторический труд Карамзина, открывшего, по его словам, „россиянам" их историю, подобно тому как Америка была открыта Колумбом. Известен тот неослабевающий культ, который Пушкин питал за это к „историографу" на протяжении всей своей сознательной жизни.

Разработка исторических тем занимает очень значительное место в литературном творчестве и самого Пушкина.

И если, конечно, нельзя считать исторической его первую поэму Руслан и Людмила—эти „времен минувших небылицы", — ни даже Бахчисарайский фонтан, хотя действие его и приурочено к определенной исторической действительности, то в последней из своих байронических поэм—Полтаве—Пушкин разрабатывает уже несомненную историческую „быль", портрет байрони-

ческого героя ее, „мрачного“ и „коварного“ Мазепы, почти теряется в той широкой исторической раме, которой он его окружает. Исключительную разработку исторической темы представляет собой и ранее написанный Борис Годунов.

Когда в 1830 году появляется История Русского Народа Полевого, Пушкин дает в нескольких статьях подробнейший критический разбор ее, не только тщательно, шаг за шагом, оспаривая ее автора, но и набрасывая в программе-конспекте к ненаписанной им третьей статье собственную, выдвигаемую в противовес Полевому, оригинальную концепцию русской истории.

Среди его ненапечатанных статей сохранились следы такой же еще более ранней попытки общего охвата всего хода русской истории—Исторические Замечания, набросанные еще в Кишиневе, в 1822 году,—попытки весьма замечательной и к которой мы еще вернемся.

В 1827 году Пушкин начинает исторический роман из эпохи Петра Великого, которая вообще в течении всей жизни особенно влекла к себе поэта. Через некоторое время он задумывает уже собственно исторический труд о „Петре Великом и его наследниках“.

В 1831 году, предлагая взяться за редактирование проэктируемого им „Политического и Литературного журнала“, он тут же пишет Бенкендорфу: „Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших Государственных Архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать историю Петра Великого и Его наследников до Государя Петра III (Переписка, изд. Акад.

Наук, под ред. Саитова, II, 278—9). Получив на это разрешение, он сообщает Нащокину с восторгом: „Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в Архивы“ (ib., 285).

Несмотря на архивные изыскания, история Петра Великого, как и исторический роман из его эпохи у Пушкина так и не складываются [2]). Но зато в 1833 году появляется его большой исторический труд — История Пугачевского бунта [3]) и пишется замечательный Медный всадник — итог всех исторических размышлений и переживаний Пушкина, этот подлинный миф о русской истории, ключ и ко всей социологии Пушкина и к его окончательному историческому и философскому миросозерцанию *). Незадолго до смерти он опубликовывает исторический роман из той же эпохи Пугачевщины.

Есть указания, что современники ожидали от него написания „новейшей истории России“, „истории его времени“ [4]).

Наконец, его исторические увлечения были настолько общеизвестны, что авторы рокового анонимного письма, погубившего Пушкина, выбирают их мишенью своих издевательств, сообщая, что Пушкин назначен „историографом“ ордена рогоносцев.

Своему органическому влечению в область истории Пушкин дает и теоретическое обоснование.

История для него—синоним культуры; отсюда интерес к истории—признак культуры, следствие истинного просвещения. „Калмыки, говорит он, не имеют истории“ (Роман в письмах 1829/30 г. г.).

---

*) См. нашу статью: Миф Пушкина о декабристах (социологическая интерпретация „Медного всадника“) в журнале Печать и Революция, 1926, кн. IV, стр. 5—23 и кн. V, стр. 15—33.

„Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим“ (ib.; тоже дословно повторяется Пушкиным в наброске „в одной газете почти оффициальной“... [5]).

Уважение к истории тесно связано в понимании Пушкина с уважением к предкам: „Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности“ (Гости съезжались на дачу, 1831—32).

Здесь и выступает один из моментов гордости Пушкина древностью своего рода, своим аристократизмом, „доброродством“. Род Пушкиных участвовал в строительстве русской истории, русской культуры. Среди своих предков Пушкин имел несколько исторических лиц. В черновиках „Родословной моего героя“ он сам сознается в своей „слабости безвредной“ — отыскивать „их имена в двух-трех строках Карамзина“. Ив. Аксаков в своей речи о Пушкине справедливо указывает: „Русская летопись не представлялась ему чем то отрешенным, мертвою хартиею, но как бы и семейною хроникой“ (Полн. собр. сочин., т. VII, стр. 830). „Семейственные воспоминания, говорит один из героев Пушкина, явно высказывая одну из его собственных задушевных мыслей, должны быть исторические воспоминания народа“ (Роман в письмах, приписка в рукописи).

В незаконченном Арапе Петра Великого Пушкин и дает образец скрещения исторических и семейственных воспоминаний—„Арап“ является одновременно и историческим романом, и главой из семейной хроники Пушкиных-Ганнибалов (герой романа—предок Пушкина). Действует, как известно, „род Пушкиных мятежный“ и в „Борисе Годунове“ в лице двух, выведенных там поэтом, его представителей [6]). Воспоминания семейной хро-

ники Пушкина, как увидим, подскажут поэту и ряд других лиц и эпизодов в его романах — Капитанская дочка и Дубровский.

Словом, исторические влечения Пушкина подогревали его интерес к своей родословной, наоборот, наличие такой родословной питало историческое чувство Пушкина, давало ему возможность ощущать себя в живой связи с прошедшим, чувствовать себя „в истории".

2

Однако, несмотря на несомненную тесную связь между историзмом Пушкина и его классовыми переживаниями, не всегда, как увидим, содержание того и другого в нем совпадало.

Больше того, не раз обнаружим мы в нем и прямое расхождение между общей его, логически построяемой, исторической концепцией и непосредственным, „нутряным" чувством принадлежности к определенному классу, связи с его частными судьбами и интересами.

Мало того, и классовые переживания поэта, и самый его историзм выростали на биографических, в широком смысле этого слова, корнях, питались теми реальными социологическими противоречиями, в которых протекала личная жизнь Пушкина.

Пушкин по отцу принадлежал к старинному родовитому дворянству, связанному узами родства с знатнейшими русскими фамилиями [7]). Однако, ко времени рождения поэта род Пушкиных захирел и обнищал [8]). Отсюда вечная, от начала до конца дней, социальная ущербленность, межеумочность поэта,—по праву рождения, по своим личным и семейным связям вращавшегося в высшем кругу и в то же время не имевшего материальных

средств поддерживать в нем свое положение и достоинство, вечно нуждавшегося в деньгах, вынужденного заниматься литературой, как профессией, „торговать“ своими произведениями, третировавшегося более удачливыми представителями этого „высшего круга“, всякого рода „полумилордами Воронцовыми“, в качестве неровни, втируши, „сочинителя“.

Но тот же „сочинитель“ Пушкин еще более чужим был и чувствовал себя и среди „братьи-литераторов“, профессионалов от литературы, писателей-разночинцев, одни из которых не могли простить ему „аристократства“ происхождения, другие „аристократства“ таланта, и которых, несмотря на свои искренние заявления о равенстве всех общественных „состояний“ „перед судом критики“, о „личном достоинстве“, высшем чем „знатность рода“, сам он, в силу всех предрассудков крови и воспитания, не мог, в свою очередь, считать себе равными *).

Обостренное классовое самосознание и самоопределение Пушкина, на всем его протяжении, во всех разнообразных, зачастую противоречивых формах, какие оно ни принимало, и было, в значительной степени, реакцией, ответом на эту социальную двусмысленность своего положения; диктовалось желанием достойно утвердить себя, как человека и поэта, среди светской и всяческой черни, тем постоянным стремлением к „вольности“, „свободе“,

---

*) См. хотя бы многочисленные отзывы Пушкина о „лавочниках литературы“, „журналистах“ (переписка I, 117; II, 42; III, 94 и мн. др.). Ср. Мысли на дороге, глава о Ломоносове, в особенности, черновики ее.

„независимости“, „воле“, которое так характерно и для его жизни, и для его творчества *).

В эволюции классового самосознания Пушкина можно наметить три основных фазы, которые совпадают и с периодами развертывания общего философского и политического миросозерцания поэта, и с основными вехами его творческой эволюции.

Здесь, конечно, должно оговорить, что, принимая такое дробление по периодам живой и цельной в своей непрерывности жизни и мысли Пушкина, мы не должны забывать всей его условности. Каждый из этих периодов, сколь бы четко ни означали мы его хронологически и сколь бы ни отличали от предыдущего и последующего, является закономерной частью общей эволюции личности Пушкина; в каждом из них, как увидим, можно раскрыть диалектически в него заложенное зерно последующего, сколь бы это последующее от него ни отличалось и ему, на первый взгляд, ни противоречило.

3

Первый период—период наименьшей классовой сознательности Пушкина—связан с лицеем и первыми годами послелицейской жизни поэта (приблизительно с 1817-го по 1823-ий год). Пушкин в это время называет себя „демократом“, вращается в кругу „молодых якобинцев“, связан личными отношениями и идейной близостью с будущими деятелями декабризма, „вольными стихами“ воодушевляет их к действию, „подсвистывает“ своими знаменитыми эпиграммами Александру I и наиболее не-

*) В этой эволюции от „вольности“ ранних стихов до „воли“ последнего периода творчества—эволюция всего Пушкина.

нависным деятелям конца его царствования—Фотию, Аракчееву и др.

Однако, уже и в этот период—период „вольнолюбивых мечтаний", столь же широкого, сколь и неопределенного демократизма, столь же неопределенных, сколько пламенных порываний к свободе—„свобода, он одной тебя еще искал в подлунном мире"—и, одновременно с тем, период рассеяннейшего, светского существования—прорываются в Пушкине, наряду с призывами в стихах „оставить вельмож", „круг большого света", и признаки столь выраженных в нем впоследствии пристрастий к „аристократству". Вот как вспоминает о нем в это время его лицейский товарищ, известный декабрист Пущин, свидетель, который если и может быть заподозрен в чрезмерной щепетильности к явлениям известного рода, то уж никак в достоверности сообщаемого или несправедливом пристрастии к своему другу:

„Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственною улыбкою выслушивали его шутки и остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь бывало: „что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом: ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр." Он терпеливо выслушивает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется, потом, смотришь,—Пушкин опять с тогдашними львами. Странное смешение в этом великолепном создании" [9]).

Либеральная настроенность не оставляет Пушкина и

в первые годы его ссылки — пребывание на юге России, Кишиневский период. Замечательным образцом этой настроенности являются его Исторические замечания, набросанные в 1822 году в Кишиневе и представляющие чрезвычайно характерное соединение либеральной фразеологии „свободолюбивых кружков", в коих Пушкин вращался, с государственной точкой зрения Истории Карамзина, которая хотя и встречена была Пушкиным эпиграммой, наложила, как известно, неизгладимый след на все его историческое мышление. В согласии и с либеральным демократизмом 20-х годов и одновременно с Карамзиным, в своих Исторических замечаниях Пушкин выступает еще решительным противником древне-русской „аристократии": „Аристократия, пишет он, после его (Петра I) неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к щастию хитрость Государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма и существование народа не отделилось вечною чертою от существования Дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то Владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднилиб или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничилиб число Дворян и заградилиб для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей Государственных... Памятниками неудачного борения Аристократии с Деспотизмом, остались только два указа Петра III о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливей должны были бы стыдиться" *).

*) К высказываниям Историч. замечаний о др. русской „аристократии" примыкает более поздняя фраза Пушкина в черновых наброс-

Как увидим, по всем этим пунктам—отношение к феодализму, взгляд на открытый доступ в дворянство из других сословий и т. п.—Пушкин станет вскоре на совершенно противоположную точку зрения.

Но, одновременно с тем, в упреке, который Пушкин делает в тех же Исторических замечаниях Екатерине II, „унизившей дух дворянства“ старого и на смену ему создавшей новое дворянство из среды своих „любовников“ и их присных, наделившей „огромными имениями, вовсе неизвестные фамилии“,—в этом упреке уже содержится зародыш последующего взгляда Пушкина на два слоя в современном ему дворянстве и различные их судьбы, обусловленные различными же историческими причинами.

4

Однако, как известно, уже к 1823 году, вскоре после неудачных попыток примкнуть к тайному обществу, некоторым членам которого прямо было запрещено верховной думой сводить знакомство с Пушкиным, ввиду недоверия к его „характеру, малодушию и развратной жизни“ [10]), он начинает охладевать к своему начальному юношескому „вольномыслию“ [11]).

Одновременно с этим Пушкин начинает все более утверждаться в сознании своего старо-дворянского происхождения, своей родовитости.

Правда, еще в письме 1824 года к своему старому приятелю, „якобинцу“ Кривцову, он противопоставляет его новоявленному „аристократству“ свой демократизм:

ках по поводу „Бориса Годунова“: „Древнее русское дворянство не может быть уважаемо“, фраза, правда, поэтом зачеркнутая и, вообще, с неясным, в контексте, смыслом.

„А ты ни строчкой не порадовал изгнанника! правда ли, что ты стал аристократом. — Это дело, но не забывай демократических друзей 1818 года“ (Переписка изд. Акад. Наук, под ред. Саитова, I, 135) [12]).

Однако, через полгода с небольшим, „аристократом“— и в сознании его „демократических друзей“, и в собственном своем определении становится и сам Пушкин.

Письмо декабристу А. А. Бестужеву, которое мы сейчас процитируем, написано Пушкиным из Михайловского в конце мая—начале июня 1825 года, но содержание этого письма напитано горечью его одесских воспоминаний, связано с периодом пребывания Пушкина в Одессе, на службе при графе Воронцове. Ту обстановку, в которой он оказался в Одессе, Пушкин переживал чрезвычайно мучительно. С одной стороны,—он чувствовал и знал себя прославленным поэтом, кумиром тогдашней молодежи, с другой—был жалким чинушей, „коллежским секретарем“, своего рода, „бедным Евгением“, при надменном, скоро возненавидевшем его графе Воронцове. К этому присоединялась острая нужда, и всегда-то, несмотря на чрезвычайно высокие, не в пример другим, гонорары, которые он получал, одолевавшая поэта, не умевшего и не хотевшего жить в пределах своего заработка и вообще своих материальных возможностей, нужда, которая в Кишиневско-Одесский период достигала особенной унизительности и остроты.

Утверждение себя в своей родовитости, выдвигание „600-летней родословной“ было в Пушкине прямым защитным средством, помогавшим ему перенести атмосферу зависимости, унизительного пренебрежения и еще более унизительного покровительства со стороны лица, которое поэт считал во всех отношениях стоящим ниже себя [13]).

Указывая в письме Бестужеву, что русская словесность в отличие от иностранной „не носит на себе печати рабского унижения“, что „наши таланты благородны, независимы“, причину этого Пушкин усматривает в принадлежности русских писателей к высшему классу. „Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего общества. Аристократическая гордость сливается у них с Авторским самолюбием: мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница“ (Переп. I, 227) *).

Бестужев показал письмо Пушкина главе тайного Северного Общества, Рылееву, который немедленно отозвался Пушкину: „Ты сделался аристократом, это меня рассмешило. Тебе ли чваниться пятисотлетним дворянством. И тут вижу маленькое подражание Байрону. (Этот упрек в подражании Байрону повторят Пушкину в 1830 г. Булгарин и друг.). Будь, ради Бога, Пушкиным, ты сам по себе молодец“ (ib. I, 232).

Пушкин отвечает письмом, бо́льшая часть которого посвящена упреку Рылеева:

„Мне досадно, что Рылеев меня не понимает... ты сердишься за то, что я хвалюсь шестисотлетним дворянством (NB мое дворянство старее) [14]). Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от состояния писателей?... Не должно русских писателей

*) „Воронцов, писал он же несколько ранее А. И. Тургеневу—вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое“ (Переп. I, 124).

судить, как иноземных. Там пишут для денег,—а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего — так пиши книгу, а у нас есть нечего, так служи да не сочиняй. Милый мой! Ты—поэт, и я—поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав (ib. I, 233).

Ответ Рылеева на это письмо был написан им за два-три месяца до декабрьского выступления и очень характерен для Рылеева-декабриста. „Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлетним дворянством; но несправедливо... Преимуществ гражданских не должно существовать, да они для поэта Пушкина ни к чему и не служат. Чванство дворянством непростительно особенно тебе. На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин“ (ib. I, 298—99).

Этот призыв к личному достоинству, это заключительное—„будь поэт и гражданин“—чрезвычайно характерны, конечно, для всей восторженно-идеалистической, взошедшей на лозунгах французской революции, идеологии декабризма. С другой стороны, видно, как уже к тому времени Пушкин, отдавший двумя-тремя годами ранее дани увлечения идеологией русских тайных обществ, отошел в эту пору от нее, смотрел со стороны на то декабрьское движение, классовый характер, которого, как увидим потом, был ему так отчетливо ясен.

На общие фразы Рылеева „будь поэт и гражданин“, „будь Пушкиным“, Пушкин спокойно и трезво отвечает ему указанием на то, что „дух словесности отчасти зависит от состояния писателей“, и хладнокровно заканчивает: „Я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав“.

Возражения Рылеева не убедили Пушкина. „Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие“, читаем в одной из его заметок, напечатанных в „Северных Цветах“ на 1828 год.

В 1829 году, по воспоминаниям одного из его современников, он восклицает: „Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками. Я горжусь тем, что под выборной грамотой Михаила Федоровича есть пять подписей Пушкиных“ [15]).

5

Но наиболее полно и до конца высказать свои мысли Пушкину привелось в 1830 году в ответ на упреки в аристократизме „Северной Пчелы“, „Московского Телеграфа“ и некоторых других журналов. Пушкин в это время принимал самое близкое участие в „Литературной Газете“, издаваемой бар. Дельвигом при ближайшем сотрудничестве кн. Вяземского и Боратынского. „Литературная Газета“ стояла по ряду литературных и общих вопросов в резкой оппозиции почти со всеми остальными журналами, в особенности с пользующейся правительственной субсидией и особым покровительством шефа жандармов Бенкендорфа „Северной Пчелой“ [16]).

Характерно, что за несколько месяцев до начала знаменитой полемики о „литературной аристократии“ Пушкину пришлось выступить с проповедью самой широкой сословной терпимости. Редактор „Вестника Европы“, небезызвестный проф. Каченовский в полемике с издателем „Московского Телеграфа“ назвал его купцом. Пушкин в

напечатанном в „Северных Цветах“ „Отрывке из литературных летописей“ поспешил вступиться за Полевого: Каченовский, пишет он, „неоднократно с упреком повторял г. Полевому, что сей последний купец... Тут уж мы приняли совершенно сторону г. Полевого. Никто более нашего не уважает истинного родового дворянства, коего существование столь важно в смысле государственном; но в мирной республике наук, какое нам дело до гербов и пыльных грамот. Потомок Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессор, честный аудитор и странствующий купец равны пред законами критики *).

Это заявление Пушкина замечательно во всех отношениях. Подчеркивая свое уважение к „истинному родовому дворянству“, Пушкин однако тут же ставит четкие пределы его роли и значению, в качестве опоры и носителя „государственности“ (подробнее выскажется об этом Пушкин позднее в наброске своей статьи „о дворянстве“). Собственно культурное делание, работа на ниве „просвещения“ осуществляется, по мысли Пушкина, не одним дворянским классом, а общей дружной работой внесословной, „перед судом критики“, интеллигенции, вернее интеллигенции, вербующей свои ряды из представителей всех сословий **).

---

*) Правда, это не мешает Пушкину в одной из неопубликованных заметок, относящихся к тому же 1829 г., смеяться над Надеждиным, как „скромным молодым человеком из сословия слуг“, „над стихами молодых семинаристов“ и „милыми проказами маленького купчика“.

**) Позднее, как увидим, Пушкин и прямо отделит потомков „старинного дворянства“, вместе с разночинцами составляющих „трудолюбивое и просвещенное третье состояние“, являющихся носителями просвещения, культуры, от современной ему невежественной знати, новодворянско-чиновной „черни“, великосветского варварства.

Несмотря на это, Булгарин, Полевой и некоторые другие журналисты в своей полемике с „Литературной Газетой“ выставляли ее, как орган кучки „аристократов“. Это дало повод выступить с возражениями сперва кн. Вяземскому (статья „о духе партий, о литературной аристократии“ Литер. Газ. № 23, 21/IV 1830). Указав, что если существует в современной литературе какой-нибудь „аристократический заговор“, то это „заговор дарования против дюжинной пошлости, вкуса против безвкусия, образованности против невежества“..., он добавляет: „те, которые у нас более других говорят об аристократическом союзе, твердо знают, что этот союз не опасен выгодам их. Справьтесь с ведомостями нашей книжной торговли и вы увидите, что если одна сторона литературы нашей умеет писать, то другая умеет печатать с целью скорее продать напечатанное... Таким образом, литературной промышленности, которая есть существенная аристократия нашего века, нечего попустому заботиться и кричать о так называемой аристократии, которая чужда оборотов промышленности“. Дальше мы увидим, что такую же попытку отстранить от себя термин „аристократия“ и даже отчасти перекинуть его на своих противников, неоднократно делает и Пушкин, также с большим азартом через некоторое время вмешивающийся во вспыхнувшую полемику.

Небольшая заметка Пушкина о „неблаговидности нападок на дворянство“ помещена в № Литературной Газеты от 25-го июня 1830 года.

„С некоторых пор, читаем в ней, журналисты наши упрекают писателей, которым неблагосклонствуют, их дворянским достоинством... Французская чернь кричала когда то: Les aristocrates à la lanterne!... Подражание наше

не дельно. У нас в России... дворянское достоинство в особенности, кажется, ни в ком не может возбуждать неприязненного чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины Университетские легко выводят в оное людей прочих званий. Ежели негодующий на преимущества дворянские неспособен ни в какой службе, ежели он не довольно знающ, чтобы выдержать Университетские экзамены, жаловаться ему не на что. Враждебное чувство его, конечно, извинительно, ибо необходимо соединено с сознанием собственной ничтожности, но выказывать его неблагоразумно...".

То же самое Пушкин прямо в лицо Булгарину высказал в одновременно написанной эпиграмме:

Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин, —
Беда, что скучен твой роман *).

Булгарин ответил Пушкину „Вторым письмом из Карлова на Каменный остров" (Северн. Пчела, № 94, 7 авг.), где, продолжая издеваться над аристократизмом сотрудников Литературной Газеты, поворачивает против них же оружие, направленное в него Пушкиным: „Аристократизм не сделает глаже и умнее ни прозы, ни стихов". Затем под видом рассказываемого анекдота Булгарин наносит, прозрачно завуалировывая это по обычаям

*) Ср. с напечатанной в той же Литературной Газете от 5 июня эпиграммой Боратынского: „Он вам знаком. Скажите кстати, зачем он так не терпит знати?"

тогдашней журналистики, очень чувствительный удар самолюбию Пушкина, рассказывая, что его предок-негр был куплен некиим шкипером за бутылку рома. Через день Пушкин ответил небольшой заметкой в Литературной Газете (№ 45, 9 авг.): „Новые выходки противу так называемой литературной аристократии". В ней Пушкин снова указывает на недобросовестность обвинений в похвальбе своим аристократизмом и напоминает, что он же заступился за Полевого против попрекавшей его купечеством „Северной Пчелы": „ни один из известных писателей, принадлежащих будто бы этой партии, не думал величаться своим дворянским званием. Напротив, Северная Пчела помнит, кто упрекал поминутно г-на Полевого тем, что он купец, кто заступился за него, кто осмелился посмеяться над феодальной нетерпимостию некоторых чиновных журналистов". Заканчивается заметка новым сопоставлением шуток над дворянством с эпиграммами демократических писателей XVIII столетия, которые „приуготовили крики: „Аристократов к фонарю" и ничуть не забавные куплеты с припевом: „Повесим их, повесим. Avis au lecteur." Заметка вызвала на этот раз гневную отповедь Н. Полевого (Московский Телеграф, 1830, № 14), и полемика снова разгорелась по всему журнальному фронту.

Полемика эта, конечно, характерна и имеет известное значение, но нам на ней можно было бы не останавливаться так подробно, если бы она не явилась одним из стимулов, способствовавших окончательному прояснению в Пушкине его классового сознания,—созданию им целой стройной исторической системы судеб и хода развития и превращений, испытанных русским дворянством, если бы, в свою очередь, сознание это не отметило собой целого

ряда художественных произведений Пушкина, не отразилось особым образом на всем его творчестве 30-ых годов. Тем более не стоило бы задерживаться на этой полемике, что в пылу ее Пушкин опустился до применения тех же самых средств, которые он справедливо осуждал в своих противниках, до попытки вмешать в нее в свою пользу третью силу, совсем уже нелитературную,—цензуру и правительство. Таким обращением к правительственной власти, конечно, являлось сравнение своих противников с революционной публицистикой эпохи французской революции, приуготовившей крики—аристократов на фонарь,—и именно в этом смысле заметка была воспринята и истолкована и журналистами (ответ Н. Полевого, Москов. Телеграф № 14), и самим правительством (Бенкендорф обратил внимание на „неприличность" статьи и потребовал имени автора—Дельвиг отозвался, что оно ему неизвестно,—и пропустившего ее цензора, который заявил, что он пропустил статью потому, что „постоянные нападки „Москов. Телегр." на русское дворянство не могут быть оставлены без опровержения") [17]). Но, повторяем,—эта полемика сыграла в развитии мысли и творчества Пушкина важную роль.

6

В том же месяце (31 августа) Пушкин уехал в Болдино—устраивать свои денежные дела и раздел с сестрой сельца Кистеневки, выделенного ему отцом перед предстоящей женитьбой. Как известно, вместо нескольких дней, как он предполагал, в Болдине поэт, сперва из-за хозяйственных затруднений, потом из-за карантинов ввиду начавшейся холеры, пробыл три месяца. Прожил он эти три месяца „без книг, без соседей", много думал и

исключительно много написал. За эти три месяца прояснились и были сформулированы в нем окончательно и его классовые воззрения. Ряд взаимно-усиливающих друг друга моментов этому благоприятствовал. С одной стороны, уязвленность нападками Булгарина заставила его обратиться к тщательному изучению своей родословной; с другой,—разбор истории Полевого побудил его снова задуматься над ходом и развитием русской истории; с третьей,—предельному обострению в нем классовых переживаний способствовала та обстановка, в которой он очутился, его новое положение собственника небольшой родовой деревеньки, необходимость войти в самый строй дворянско-помещичьей экономики, крепостного хозяйства, присмотреться к крестьянскому и помещичьему деревенскому быту, принять ряд хозяйственных решений и распоряжений, от которых в значительной степени зависело его будущее и будущее его новой семьи. На классовые темы Пушкиным написан и задуман в это время длинный ряд самых разнообразных произведений—в стихах, прозе, набросков, статей. Это—большое стихотворение Моя родословная и тесно примыкающий к ней набросок Родословной Пушкиных и Ганнибалов, История села Горюхина, программа третьей статьи об „Истории русского народа“ Полевого, Критические заметки, Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений, разговор между А. и Б. и др.

Разговор между А. и Б., в печати при жизни Пушкина не появившийся, примыкает непосредственно к последней разобранной нами его заметке в Литературной Газете.

В этом разговоре Пушкин уточняет самый термин—аристократия и, вынося себя за скобки современной ему аристократии, указывает, что в настоящее время в дво-

рянстве существуют две резко разнящиеся между собой социальные группы, с совершенно отличной экономической и исторической судьбой. „На кого журналисты наши нападают? Ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Императоре Петре I и Императрицах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократию. Pas si bête! Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до крайности; они нападают именно на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного; состояния, коему принадлежит и бо́льшая часть наших литераторов". И не к аристократии, не к „новому дворянству", а именно к такому „старинному дворянству", ныне раззорившемуся, упавшему и в значительной мере деклассированному, Пушкин и причисляет себя всецело.

„В одной газете, почти оффициальной, сказано было, что я—мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать—дворянин во мещанстве. Род мой один из самых старинных дворянских. Мы происходим..."—и дальше следует краткий набросок шестисотлетней родословной Пушкиных, подробнее изложенной в Родословной Пушкиных и Ганнибалов и тогда же поэтически обработанной в Моей родословной. „Вообще, заключает Пушкин, имя моих предков встречается почти на каждой странице нашей истории.

Ныне огромные имения Пушкиных раздробились и пришли в упадок; последние их родовые имения скоро исчезнут; имя их останется честным, единственным достоянием темных потомков некогда знатного боярского рода... Ныне знать нашу, большею частию, составляют

роды новые, получившие существование уже при Императорах... Смотря около себя и читая старые наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожались, как остальные упадают и исчезают, как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные, и как имя дворянина, час-от-часу более униженное, стало, наконец, в притчу и в посмеяние даже разночинцам, вышедшим в дворяне и досужим журнальным балагурам".

7

Это чувство принадлежности к умирающему классу— „родов униженных, дряхлеющих обломок" (Моя родословная)—становится одним из мучительных навязчивых переживаний Пушкина как в 1830 году, так и в ближайшие следующие за тем годы.

„Я без прискорбия никогда не мог видеть уничтожения наших исторических родов, говорит, повторяя почти дословно только что цитированные слова самого Пушкина, один из героев его незаконченного Романа в письмах (1829—30)... Древние фамилии приходят в нищенство, новые подымаются и в третьем поколении исчезают опять".

Почти то же самое читаем мы в отрывке Гости с'езжались на дачу (1831—32): „Вы упомянули о вашей аристократии: что такое русская аристократия, спрашивает у героя отрывка заезжий испанец? Занимаясь вашими законами, я вижу, что наследственной аристократии, основанной на неделимости имений, у вас не существует. Кажется, между вашим дворянством существует гражданское равенство, и доступ к оному ничем не ограничен. На чем же основывается ваша, так называемая аристо-

кратия? Разве только на одной древности родов русских замечательных людей?

— Вы ошибаетесь, отвечает он. Древнее русское дворянство, вследствие причин, вами упомянутых, упало в неизвестность и составило род третьего состояния; дворянская чернь, к которой и я принадлежу, считает между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха; но настоящая аристократия наша с трудом может назвать и своего деда. Древность рода их восходит до Петра и до Елизаветы. Деньщики, певчие, хохлы—вот их родоначальники...“

Но с особой силой это чувство упадка, гибели класса, дворянской культуры выражено в Родословной моего героя (1833 г.), представляющей прямое продолжение и развитие Моей родословной и Родословной Пушкиных и Ганнибалов:

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух...
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел...

В черновиках:

Мне жаль, что домы наши новы,
Что прибиваем мы на них
Не льва с мечем, не щит гербовый,
А ряд лишь вывесок цветных,

Совсем в схожих выражениях пишет Пушкин несколько позднее в „Мыслях на дороге“ об упадке, „утратившей свой аристократический блеск“ дворянской Москвы:

„Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее Боярство, Вельможи, оставившие Двор, люди независимые, беспечные... Некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму... Во всех концах древней столицы гремела музыка и везде была толпа... Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Они жили по своему, забавлялись, как хотели, мало заботясь о мнении ближнего... Куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники? Все исчезло!.. Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного... великолепный бельэтаж нанят мадамой для пансиона—и то слава Богу! На всех воротах прибито об'явление, что дом продается и отдается в наймы—и никто его не покупает, и никто его не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздается стук кареты... Подмосковные деревни также пусты и печальны: роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина; плошки и цветные фонари не освещают английских дорожек, ныне заросших травою, а бывало уставленных миртовыми и померанцевыми деревьями. Пыльные кулисы домашнего театра тлеют в зале... барский дом дряхлеет“... (Мысли на дороге).

Эти настроения ущерба, упадка, это ощущение неминуемой обреченности, гибели всего того исторического и культурного мира, в котором он жил и мыслил, окра-

шивают собой целую полосу художественного творчества Пушкина.

Пушкин создает ряд произведений, в которых голоса осени, ущерба, увядания заговорили с небывалой для него доселе силой; произведений, окрашенных столь несвойственным ему прежде мистицизмом, отмеченных вниманием к самым потаенным глубинам человеческого „Я“, к переживаниям, в которых оно стоит на грани болезни, безумия, преступления; произведений, относительно которых не так уж неправы были наши „декаденты“ 90-ых годов, почитая его своим предшественником.

Но все это является предметом второго выпуска нашей работы. Здесь отметим только, что классовая осознанность себя Пушкиным сказывается в его художественном творчестве и еще одной более непосредственно проступающей в нем чертой.

В ранних своих произведениях Пушкин почти не останавливается на классовой принадлежности своих героев— о Пленнике, Алеко мы можем лишь догадываться, что они из дворян, даже об Онегине мы знаем только, что он „наследник всех своих родных“, в том числе богатого и „промотавшегося наконец“ русского барина, своего отца: хронология Онегина столь блестяще разработанная в статье Ключевского заимствована им из других произведений. О Ленском, Ларине мы знаем тоже почти только, что они помещики. Зато всех почти героев своих новых произведений, начиная с 1830 г., Пушкин отчетливо обозначает относительно их классовой принадлежности и обозначает вполне в духе своего личного классового самоопределения. Молодой Дубровский, молодой Гринев, герой Медного Всадника, Белкин и многие другие— все это „правнуки бедные могучих предков“, „бояр ста-

ринных потомки", „обломки униженных, дряхлеющих родов". О роде Белкина и его селе Горюхине читаем: „Село Горюхино издавна принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Но в течение этого времени родовые имения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда...." и т. д.

О герое Медного Всадника:

Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало,
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало....

Таков же герой по началу задуманной для Медного Всадника Родословной моего героя—мелкий чиновник—„коллежский регистратор"—„могучих предков правнук бедный", происходивший „от тех вождей, чей в древни веки парус дерзкий поработил брега морей".

„Приятель мой,—читаем в одном из подготовительных отрывков к Египетским ночам,—происходил от одного из древнейших дворянских наших родов... Будучи беден, как почти и все наше старинное дворянство..." и т. д.

„Спешу об'ясниться, заявляет героиня Романа в письмах, бедная воспитанница в богатой семье,—и с гордостью заметить, что родом принадлежу я к старинному Русскому дворянству..." Сыновьями мелкопоместных, захиревших, но некогда знатных дворянских фамилий являются и молодые Гринев и Дубровский. Мало того в семейную хронику Гриневых и Дубровских

Пушкин вплетает эпизоды из столь близкой ему родословной „сурового“ и „мятежного рода“ Пушкиных. Мы узнаем, что отец Дубровского, подобно деду Пушкина, который,—

Когда мятеж поднялся
Средь Петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью Третьего Петра,—

в 1762 году—год Екатерининского переворота—„с расстроенным состоянием принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне“.

Такова же буквально судьба и отца Гринева: „Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе, и вышел в отставку премьер-майором в 17... С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина...“

Воспоминания старика Гринева о своих предках также навеяны родословной Пушкиных:

С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им (Моя родословная).

„Пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести“ (Капитанская дочка).

„Отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым“ (Капитанская дочка).

И Бирон деспот непреклонный
Смирял их род неугомонный
(Родословная моего героя).

Итак большинство излюбленных и наиболее интимно-близких поэту его героев принадлежало, как и он сам,

к обедневшим потомкам некогда славных родов, к древнему шестисотлетнему боярству, ныне одряхлевшему, раззорившемуся, превратившемуся в „дворянскую чернь“, впавшему в третье сословие, в „мещанство“, в городах, либо доживающему свой век в своих остальных деревеньках.

8

Наряду с этим древним, родовитым, но обнищавшим, социально деформировавшимся слоем, Пушкин, как мы видели, различал другой слой „нового служилого дворянства“, „получившего свое начало при императоре Петре и императрицах и,—как не без горькой иронии он добавляет,—по большей части, составляющего нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократию“...

У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней“...

И если к старому дворянству, к которому Пушкин принадлежит по крови, в его душе живет всяческое сочувствие,—в нем такое же презрение к этой современной ему аристократии, „светским аристократам“, „светской черни“. „Кого ты называешь у нас аристократами?—спрашивает героиня начатой повести Пушкина: „В Коломне, на углу маленькой площади“... (1831 г.). — Тех, которые протягивают руку графине Фуфлыгиной. „А кто такая графиня Фуфлыгина?“—Взяточница, толстая, наглая дура...

Тут же даются столь же нелестные характеристики других представителей современного Пушкину „проклятого аристократического круга“:

„Который это Горецкой? Не князь ли Яков?“—Совсем нет. Князь Яков давно умер. Это брат его, князь Гри-

горий, известная скотина. „На ком он женат?“—На дочери того певчего... целовальника, нажившего миллионы... „А, тот, который получил когда-то пощечину и не дрался?“—Совсем нет. Его били палкою *).

Такое же противопоставление в Романе в письмах: „Владимир Z. мне нравился, но никогда я не предполагала выйти за него. Он аристократ, а я—смиренная мещанка. Спешу об'ясниться и с гордостию заметить, как истинная героиня романа, что родом принадлежу я к старинному Русскому дворянству, а что мой рыцарь—внук бородатого миллионщика“.

Но наиболее полно гнев и презрение Пушкина к „новой знати“, к „аристократии“ выразился в его знаменитой Моей Родословной:

Не торговал мой дед блинами,
В князья не прыгал из хохлов,
Не пел на крылосе с дьячками,
Не ваксил царских сапогов,
И не был беглым он солдатом
Немецких пудренных дружин;
Куда ж мне быть аристократом?
Я, слава Богу, мещанин.

Эта строфа, как и многие другие места Моей Родословной, полна прямых указаний на ряд представителей тогдашней „новой знати“—кн. Меньшиковых, гр. Безбородко, гр. Разумовских, гр. Кутайсовых...

---

*) Ср. такую же отрицательную оценку „нашего большого общества“ в отрывке из „Рославлева“ в описании приема m-me de Staël Москвою.

Стихи не были Николаем разрешены к печати, но распространились в списках и нажили Пушкину много злейших врагов в „свете“, сосчитавшихся с ним позднее и вызвавших его гибель.

9

Но Пушкин, размышляя над положением современного ему дворянства и своим местом в нем, не только расслоил его на две резко отличные и враждебные друг другу социальные группы, но и остановился на причинах упадка первой из них,—старинного родовитого дворянства,—к которой сам он себя причислял.

Одной из таких причин, лежащей в самом дворянстве, была оторванность от почвы, от своих родовых поместий, безхозяйственность и мотовство его представителей, портреты которых Пушкин зарисовал в своем графе Нулине,—„граф Нулин из чужих краев, где промотал он в вихре моды свои грядущие доходы...“,—кн. Верейском из Дубровского, Муромском из Барышни-Крестьянки и мн. друг., и одного из которых двумятремя штрихами наметил в отце Онегина. Тот же процесс разложения дворянского хозяйства, раздробления и утечки земель рисует он в Родословной моего героя, дед которого:

Имел пятнадцать тысяч душ,
Из них отцу его досталась
Осьмая часть, и та сполна
Была сперва заложена,
Потом дробилась, продавалась...

Такое же вырождение старинной дворянской вотчины

изображено Пушкиным в „полусмешной, полупечальной“ форме и в его „Истории села Горюхина“.

„Тем я и кончу—выйду в отставку, женюсь и уеду в свою Саратовскую деревню мечтает Владимир Z. (Роман в письмах), разделяя эти свои задушевные мечтания с задушевнейшими же мечтаниями самого Пушкина. Звание помещика есть та же служба. Заниматься тремя тысячами душ, коих все благосостояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши. Небрежение, в котором мы оставляем наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанностей в их отношении. Мы оставляем их на произвол плута прикащика, который их притесняет, а нас обкрадывает; мы проживаем в долг наши будущие доходы и раззоряемся; старость нас застает в нужде и в хлопотах. Вот причина быстрого упадка нашего дворянства: дед был богат, сын нуждается, внук идет по миру“ *).

„Твои нравственные размышления на счет управления имений радуют меня за тебя, отвечает ему его друг, один из светско-чиновных Нулиных, но, по моему, самое завидное состояние не то... Чины в России необходимость: молодому дворянину необходимо служить хоть для одних станций, где без них не добьешься лошадей“...

Так шуткой Пушкин прикрывает едкую горечь своих Болдинских раздумий над причинами раззорения и упадка древних наших родов.

---

*) Мотив возвращения в деревню, „в дом отчий“ встречаем в ряде произведений Пушкина—возвращение Белкина, молодого Дубровского, отца Гринева, отца Берестова; наконец, вспомним, постоянные лирические порывания самого поэта „в обитель дальнюю трудов и мирных нег“.

Но кроме этой причины „быстрого упадка нашего дворянства“ Пушкин, одновременно размышлявший в связи с разбором истории Полевого над общим ходом нашего исторического развития, указывает и на общую и в то же время более неотвратимую его причину. Это—вековая политическая и социальная борьба между самодержавием и древней русской „аристократией“—боярством,—завершившаяся реформами или, как Пушкин предпочитает их называть,—„революцией“, Петра, который, открыв дворянство для других сословий путем выслуги и учредив своей табелью о рангах чиновную иерархию, способствовал классовому перерождению дворянства. Возражая в программе 3-ей статьи Полевому, что феодализма в России не было, Пушкин замечает: „Место феодализма заступила аристократия, и могущество ее в междуцарствие возрасло до высочайшей степени. Она была наследственная—отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Феодор, а Языков и меньшое дворянство уничтожили местничество и боярство. С Феодора и Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня“. Дальше следует конспективная запись:—„Петр. Уничтожение дворянства чинами. Маиоратства, уничтоженные мотовством Анны Ивановны.—Падение постепенное дворянства. — Что из того следует? — Восшествие Екатерины II, 14-ое декабря и т. д“.

В бумагах Пушкина сохранились кроме того наброски конспекта предполагаемой им статьи о дворянстве (1831), где он развивает подробнее те же мысли касательно истории русского дворянства:

„Attentat de Феодор (т.-е. покушение Феодора на родовитое дворянство уничтожением местничества Д. Б.)...

Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon (la Revolution incarnée). Les rangs. Chûte de la noblesse. Son указ de 1714 etc."—и дальше: „Уничтожение дворянства чинами. Маиоратства, уничтоженные плутовством. Падение постепенное дворянства"...

Но самым замечательным в этом отношении является запись, занесенная Пушкиным в свой дневник от 22 декабря 1834 года, о разговоре с великим князем по поводу указа об утверждении института почетного гражданства:

„Разговорились о дворянстве. В. К. был противу постановления о почетном гражданстве: зачем преграждать заслугам высшую цель честолюбия? (т.-е. принятие в дворянское сословие Д. Б.) Зачем составлять tiers état, сию вечную стихию мятежей и оппозиции? Я заметил, что или дворянство не нужно в Государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе как по собственной воле Государя. Если в дворянство можно будет поступать из других сословий, как из чина в чин, не по исключительной воле Г-ря, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством. Что касается до tiers état, что же значит наше дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу Аристократии, и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 Декабря? Одни Дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении. Не знаю, а кажется много. Говоря о старом дворянстве, я сказал: Nous qui sommes aussi bons gentilhommes que l'Empereur et Vous.... etc. В. Кн. был очень любезен и откровенен. Vous êtes bien de votre famille, сказал я ему, tous les Romanoff sont révolutionnaires et niveleurs".

Эта запись замечательна не только тем, что здесь незадолго до смерти даны в наиболее сжатой формулировке все излюбленные взгляды поэта на русское дворянство, но и исключительным, впору любому современному марксисту-историку, проникновением в классовую природу 14 декабря, участниками которого, по его словам, были „одни дворяне", „толпа дворян", как несколько ранее отметил он же в Евгении Онегине.

Словом, вся русская история, начиная с Иоаннов и кончая декабристами, предстает Пушкину, как ожесточенная и неперестающая внутриклассовая борьба, „боярства", „родовитого дворянства" и самодержавия, опирающегося на „меньшое дворянство"...

Характерно, что уже в Борисе Годунове, написанном Пушкиным в 1825 году, сквозит попытка об'яснить ход событий и причину „боярской интриги" недовольством высшего боярства,—„наследников варяга", Рюриковичей и Мономаховичей—царем parvenu,—„вчерашний раб, татарин, зять Малюты возьмет венец и бармы Мономаха"...,—опирающимся на таких же parvenus—меньшое дворянство, служилых людей—Басмановых,—попирающим права боярства уничтожением Юрьева дня—„вот—Юрьев день задумал уничтожить, не властны мы в поместиях своих; не смей согнать ленивца. Рад не рад,—корми его. Не смей переманить работника. Не то в Приказ Холопий. Ну, слыхано ль хоть при царе Иване такое зло?*),—покушающимся окончательно „сломить рог боярству родовому", замахивающимся на своеобразную декларацию прав его—местничество (см. диалог Бориса с Басмановым—Царь: „Не

*) Любопытный протест против крепостного права с „боярской" точки зрения.

род, а ум поставлю в воеводы; пускай их спесь о местничестве тужит. Пора презреть мне ропот знатной черни и гибельный обычай уничтожить". Басманов: „Ах, Государь, стократ благословен тот будет день, когда разрядны книги, с раздорами, с гордыней родословной пожрет огонь". Царь: „День этот недалек"). [18]).

10

Характерно, что в молодости Пушкин под влиянием кружка „молодых якобинцев", в котором он вращался, своих „демократических друзей" и, вообще, носившихся тогда в воздухе идей декабризма,—совсем по иному смотрел, как мы видели, на притязания родовитого древнего боярства, местничество и т. п.

В своих Исторических замечаниях 1822 года,—поры его вольнолюбивых увлечений,—он, начиная обзор новой русской истории с переворота, произведенного Петром—„связи древнего порядка вещей были прерваны навеки, воспоминания старины мало-по-малу исчезали",—и переходя к его предшественникам, как мы вспомним, писал: „Аристократия после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к щастию хитрость Государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма и существование народа не отделилось вечной чертою от существования Дворян".

К 1830 году—период полного классового самоопределения Пушкина, совершенного осознания им классовых интересов русского дворянства—он решительно меняет эти свои „якобинские" и „демократические" взгляды. По поводу феодализма он скажет: „Феодализма у нас

не было и тем хуже"...; о местничестве, что на него мы „привыкли смотреть самым детским образом". А о предке своем, окольничем Матвее Степановиче Пушкине, давшем свою подпись под соборным деянием об уничтожении местничества,—что это „мало делает чести его характеру".

В родословной Пушкиных эта подпись их предка была единственным преданием их классовых интересов; в остальном „мятежный", „непокорный", неукротимый", „неугомонный" род Пушкиных на протяжении всей своей истории борется с самодержавием за старинные права родовитого дворянства: Пушкины участвуют в заговоре против Годунова, в стрелецких заговорах, в заговоре Волынского, Долгоруких, в оппозиции Екатерине и проч.

Характерно, что и всех почти своих родовитых, но обедневших героев—классовых двойников самого себя—Дубровского, Евгения из Медного Всадника, молодого Гринева—Пушкин заставляет, чаще всего помимо их воли, вступать в сонм борящих существующий порядок мятежных сил *).

11

Но, как и историческая борьба рода Пушкиных—„мятежный дух нам всем подгадил",—как последняя имевшая место, на глазах Пушкина, попытка дворянского выступления против новой Петровой России — возстание декабристов,—мятеж его героев приводит их к изгнанию, гибели. „И присмирел наш род суровый", заканчивает

*) Капитанская дочка выросла именно из этой темы—дворянина, передавшегося Пугачеву; ее два варианта—Швабрин и Гринев.

Пушкин в Моей родословной обзор нескольковековой бурной исторической жизни Пушкиных. Это, несомненно, и автобиографическое признание. Погибельно бунтуя до конца в своих героях,—в жизни Пушкин „присмирел“ еще в 1825 году, сейчас же вслед за крушением декабрьского возстания.

„Каков бы ни был мой образ мыслей политический и религиозный, пишет он Жуковскому в 1826 году из своего опального Михайловского, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости (Переп. I, 335).

„Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков образумились; что с одной стороны они увидели ничтожество своих замыслов и средств, с другой необ'ятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей“... пишет он в том же 1826 году в записке О народном воспитании, поданной им уже непосредственно Николаю I [19]).

„Понять необходимость и простить оной в душе своей“— таков был результат историко-социологических размышлений и самого Пушкина, его раздумий и над историческими путями могучих „наследников варяга“, и над судьбой их „бедных правнуков“, „темных потомков“. Эмоционально ему дорого и близко безумное ратоборство его предков за свои старинные, родовые и классовые права; в нем самом, как в „обломке родов дряхлеющих“, живет „сия честь, состоящая в готовности жертвовать всем для поддержания какого-нибудь условного правила“, которая, по его собственным словам, „во всем блеске

своего безумия видна в древнем нашем местничестве" (отрывки из писем, мысли и замечания 1829 г.). Однако интеллектуально он признает такую борьбу не только безумной, т.-е. гибельной, безнадежной, но и вредной. На „крутой и кровавый" „всеобщий переворот", „произведенный мощным самодержавием Петра", он до конца жизни не перестанет смотреть, как на революцию,—и в этом скажется известное, роднящее его со славянофилами осуждение его делу, ибо, по его неоднократному заявлению, „бунт и революция" ему „никогда не нравились"; но в то же время, вопреки славянофилам, он не сможет удержать своего восторга перед „глубоко обдуманным ударом, утвердившим Россию на ее огромном основании", перед той новой государственностью, которую основал „вырывавшийся, по его словам, за пределы своего века" гений Петра. Недаром рядом с безумием и гибелью героя Медного Всадника, бросившего ему свой вызов и угрозу, апофеозом Петра и его „творенья" заканчивается эта „петербургская повесть", которая, повторяем, является итогом всех исторических размышлений и классовых переживаний Пушкина:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия:
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны Финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Историко-политическая мысль Пушкина, таким обра-

зом, совершает как бы полный оборот. Пройдя через все одобрение и сочувствие судьбам низвергнутого Петром родовитого боярства, столь близкого ему в классовом отношении, в окончательных выводах он снова как бы встает на точку зрения своих „исторических замечаний“, вновь предпочитая „хитрость государей, торжествовавшую над честолюбием вельмож“ и тем обеспечившую установление государственного единства, то „огромное основание“, на котором выросла новая послепетровская Россия. Он, по прежнему, будет считать родовое дворянство „необходимым и естественным сословием всякого образованного народа“, сословием, обеспечивающим истинную государственность,—не только носителем „необходимых в народе качеств—независимости, храбрости, благородства, чести, вообще“, которые „нужны в народе так же как трудолюбие“ и которые „трудолюбивому классу не когда развивать“,—но и „мощным защитником“ народа перед верховной властью, гарантией против полного бесправия, безграничного деспотизма. (Что такое потомственное дворянство... 1831 г.) [20]). Установление чинов, табель о рангах, открывшую дворянство путем выслуги другим сословиям, он будет считать „мерами революционными“, но предпринятыми Петром „в минуту необходимости“ и „которые потом не успел он отменить“ (О русской литературе с очерком французской, 1834). Он подтвердит необходимость этой отмены, как и некоторых других „мелких перемен“ в государственном и социальном строе современной ему России.

Но ждать и надеяться этих перемен он будет не от новых взрывов со стороны „побежденной стихии“, „страшной стихии мятежей“, деклассированных потомков ста

рого, родовитого дворянства,—а в результате... „контр-революции“ сверху. сверху

„Государь, уезжая, оставил в Москве проэкт новой организации, контр-революции революции Петра, пишет он в одном из писем 1830-го года,—периода наиболее острых своих социологических переживаний,—кн. Вяземскому. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных—вот великие предметы“ (Переп. II, 121).

Позднее, как мы видели, на такое же „ограждение дворянства“ рассчитывал он в результате установления почетного гражданства.

12

И это „смирение“, подчинение раз понятой исторической необходимости проявляется в зрелом Пушкине (не даром эпитет с м и р е н н ы й один из излюбленнейших эпитетов его творчества 30-ых годов) и еще глубже,—не только в области историко-политических воззрений, но и в области его интимнейших социологических, классовых переживаний.

Упадок, историей сужденная гибель не только старого, родовитого дворянства, но, как он это сознавал, и дворянства вообще,—„древние дворянские роды уничтожились..., остальные упадают и исчезают..., новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные...“—вызывают в нем, как мы это видели, чувства живейшей скорби. Но замечательно, что и тут он предпочитает „смириться“, не погибнуть вместе с гибнущим дворянством, а прилепиться к новому жизнеспособному классу, тому самому tiers état,—третьему состоянию,—о котором по началу он так презрительно отзывался—„из бар мы лезем в tiers état“.

В классовом самосознании Пушкина происходит отчет ливый сдвиг. Если в 1830 году в нем просыпается живет острое чувство родовитости, если он переживае себя социологически, как потомка „одного из самы древних родов", перед которым представители современ ной ему аристократии не более как „прыгнувшие в князья выскочки, „вчерашние рабы", то вскоре к нему как бы возвращается сознание его настоящей социальной дей ствительности. Все определеннее он начинает переживат себя не в своем навеки утраченном им прошлом, а в своем теперешнем состоянии—„дворянина во мещанстве".

Мы видели, что в развитии его полемики с журналами упрекавшими его в аристократизме, он отводит от себя термин „аристократ", перекидывая его на представителей столь ненавистной ему „новой знати"—этой современной ему „истинной, богатой, могущественной аристократии" себя же и социально родственную ему группу потомков „старинного дворянства" относит к „роду третьего состо яния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещен ного". И это в Пушкине глубже, чем только полемический прием.

Булгарин в пылу полемики ядовито напомнил сотрудникам „Литературной Газеты", „которых издатель Московского телеграфа в шутку назвал... литературными аристократами", и которые „приняли это за правду и в ответ на это заговорили в своем листке о дворянстве", комедию Мольера „Мещанин во дворянстве" (Северная Пчела, 7 августа 1830 г.). Пушкина этот недвусмысленный намек оскорбил чрезвычайно. Ответом на него была сохранившаяся в Пушкинских черновиках заметка: „В одной газете, почти оффициальной", составление Родословной Пушкиных и Ганнибалов

и, наконец, упомянутое стихотворение Моя Родословная, в котором Пушкин дает одновременно бой на два фронта—одинаково ненавистной ему „черни журнальной“ и „черни светской“ (анекдот о негре, купленном за бутылку рома, был рассказан Булгарину одним из представителей этой последней—гр. Уваровым).

Булгаринский выпад, как мы уже указывали, Пушкин отводит обычной ссылкой на древность своего рода и теперешнее его „униженное“, „темное“ состояние: „В одной газете, почти оффициальной, сказано было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мещанстве“...

Но уже в Моей родословной, противопоставляя себя и свой род „новой знати“, он подымает брошенное ему врагом слово „мещанин“, в качестве своего рода боевой клички, заканчивая каждую строфу вызывающе-ироническим: „я мещанин, я мещанин, я славу Богу мещанин“.

Мало того, раздумывая над своим теперешним положением „темного потомка униженных, дряхлеющих родов“, Пушкин начинает все более свыкаться с этим термином, начинает находить его действительно наиболее соответствующим его подлинному социальному бытию—деклассированного горожанина, литератора-профессионала, живущего продажей своих сочинений.

Об этом профессионализме Пушкина следует сказать несколько подробнее.

13

Одним из признаков „аристократства“ ближайших сотрудников Дельвиговской „Литературной Газеты“ враждебные им журналы 30-ых годов считали как раз их

а-профессионализм, постоянно подчеркиваемую ими, в противовес „литературным промышленникам“,—Гречу, Булгарину и др.—материальную свою незаинтересованность в делах литературы.

„Цель нашей газеты не деньги, а литература“—прямо заявляли они (Литературная Газета 1830, № 56).

Однако Пушкин под этим заявлением своих друзей мог бы подписаться не без оговорок.

На занятия свои литературой Пушкин почти с первых же своих литературных шагов начинает смотреть именно, как на „книжный торг“, как на профессию.

По началу, с одной стороны, не слишком доверяя прибыльности стихотворного „ремесла“, с другой, видимо, несколько смущаясь особым своим положением в кругу литературных друзей, которые в противоположность ему пишут не „для денег, а из тщеславия“ (вспомним, процитированное нами выше письмо Рылееву), Пушкин высказывается об этом с преувеличенной шутливостью. Таково его сравнение с куском мануфактуры только что оконченного „Кавказского Пленника“:

„Хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы, пишет он в 1821 году Гречу,—длиною в 800 стихов; стих шириною—4 стопы—разрезано на 2 песни; дешево отдам, чтоб товар на залежался“ (Переп. I, 34).

Но уже через год он пишет Вяземскому совсем серьезно: „Должно смотреть на поэзию, с позволения сказать, как на ремесло... Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне—на конченную свою поэму я смотрю, как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышем“ (ib, 61).

А брату Льву, который, радея о его „славе“, распространял по знакомым Бахчисарайский фонтан

в списках и тем подрывал материальный успех готовящегося издания поэмы, резко заявляет: „Я пел, как булочник печет, портной шьет... лекарь морит—за деньги, за деньги, за деньги. Таков я в наготе моего цинизма!“ (Переп. I, 94; ср. письмо на ту же тему от 1/IV 1824—„Тут смотри, как бы с голоду не околеть, а они кричат слава!“).

Чем выше становились гонорары Пушкина, тем, естественно, его профессиональный взгляд на занятия поэзией в нем все укреплялся, тем тверже смотрел он на свое „ремесло“ стихотворца, как на главный, почти единственный источник существования:

„Когда пошлешь стихи мои В., напиши ему, чтоб он никому не давал, потому что эдак меня опят обокрадут, — а у меня нет родительской деревни с соловьями и с медведями“ (письмо брату, Переп. I, 199).

„Здесь, в ПБ дают мне 10 рублей за стих—а в Москве хотят заставить даром работать журналу.—Да еще говорят: он богат, чорт ли ему в деньгах. Положим так, но я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедовскими вотчинами“ (письмо Соболевскому, ib. II, 66).

Но с особой определительностью высказывается он на этот счет в письмах к своему одесскому начальству, правителю канцелярии гр. Воронцова, А. И. Казначееву: „Ради Бога, не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость“ (Переп. I, 110). Через короткое время ему же: „Поскольку мои литературные занятия дают мне больше денег, естественно, с моей стороны жертвовать им занятиями служебными...

независимость—вот чего я единственно добиваюсь... я уже поборол в себе отвращение писать и продавать свои стихи, для того чтобы иметь средства к существованию; самый трудный шаг сделан. Правда, пишу я еще только под своенравным влиянием вдохновения, но, раз что стихи написаны, я смотрю на них, как на товар, не иначе". (ib. I, 114—115) [21]).

Этот последний отрывок замечателен не только своей очевидной, подкупающей откровенностью, но и совершенным совпадением с мыслями на ту же тему, высказанными Пушкиным в написанном через три месяца с небольшим Разговоре книгопродавца с поэтом. Вздох поэта, „воспомнившего" то время, когда „надеждами богатый" он писал „из вдохновенья, не из платы", его порывания к „свободе", как к единственному верному благу — „что ж изберете вы? — свободу", — равно как убеждения книгопродавца—„наш век торгаш; в сей век железный без денег и свободы нет.... нам нужно злата, злата, злата, копите злато до конца", — завершающиеся знаменитым—„не продается вдохновенье, но можно рукопись продать",—все это является почти дословным поэтическим пересказом соответственных мест из письма к Казначееву.

Эти меткие слова о непродажном вдохновении, но продающихся рукописях были той счастливо-найденной формулой, которая до конца определила отношение Пушкина к его ремеслу писателя.

В годы самой тяжелой материальной запутанности, не задолго перед смертью, решительно заявлял он жене: „Писать книги для денег, видит Бог, не могу" (Переп. III, 230). Но „рукописями" своих сочинений поэт „тор-

говал“ в течение всей своей жизни и очень удачно, и с чрезвычайной интенсивностью. Об этом свидетельствует его переписка, свидетельствуют красноречивые колонки цифр, подсчеты строк и рублей, на которые так часто наталкиваемся мы среди черновиков его творческих тетрадей.

В своем литературном профессионализме в те же последние годы жизни Пушкин утверждается окончательно.

Поэт издавна подумывал об издании периодического органа, исходя из чисто материальных соображений, с одной стороны, доходности газетно-журнального „торгового предприятия“, с другой, возможности таким путем лучше защищать профессиональные интересы свои и своих литературных друзей. В этом смысле писал он в проэкте докладной записки 1831 года, испрашивая разрешение на издание газеты им и Дельвигом: „Десять лет тому назад литературою занималось у нас весьма малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но еще не отрасль промышленности...“; ныне „литературная торговля находится в руках издателей Северной Пчелы..., критика... сделалась их монополией. От сего терпят вещественный ущерб все литераторы, которые не находятся в приятельских сношениях с издателями „Северной Пчелы“: ни одно из их произведений не продается, ибо никто не станет покупать товара, охужденного в самом газетном об'явлении“; разрешением издавать газету „государь император дарует по 40 тысяч дохода двум семействам и обеспечит состояние нескольких литераторов“.

С 1836 года Пушкин, как известно, начинает издавать „Современник“; по его собственному горькому выражению, „пускается в журнальную спекуляцию“ (Переп. III, 310), будучи автором-профессионалом, становится и профес-

сиональным „журналистом“, одним из тех, кого сам он столь энергично обзывал некогда „сволочью нашей литературы“ (ib. I, 117), „собратом Булгарину и Полевому“ (ib. III, 284).

Этим профессиональное „вживание“ Пушкина в ремесло литератора завершается.

14

Профессиональный характер литературной работы Пушкина не мог, конечно, не влиять самым решительным образом на тот сдвиг в области его классового сознания, о котором мы уже сказали—на все большее отведение себя поэтом от современной ему „аристократии“, на все большее сопричисление себя „трудолюбивому и просвещенному третьему состоянию“, по тогдашней терминологии,—„мещанству“.

Та же Моя родословная заканчивается характерными строками:

И присмирел наш род суровый,
И я родился—мещанин.
Под гербовой моей печатью
Я свиток грамот схоронил
И, не якшаясь с новой знатью,
Я крови спесь угомонил.
Я неизвестный стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я сам большой, не царедворец:
Я грамотей, я мещанин.

Так предсмертные призывы Рылеева,—„будь, ради Бога, Пушкиным, ты сам по себе молодец“,—скрестившись с

пренебрежительной кличкой, брошенной Пушкину в лицо Булгариным, дают через пять лет свой отзвук в этих стихах, звучащих неожиданно серьезно на общем подчеркнуто-ироническом фоне всего стихотворения *).

И уже совсем серьезно пишет он в 1831 году в Петербург, Плетневу: „Душа моя, вот тебе план жизни моей... я женюсь в сем месяце, приеду к Вам, заживу себе мещанином припеваючи, независимо... (Переп. II, 212). Через некоторое время ему же: „В июне буду у Вас и начну жить en bourgeois (ib. II, 223).

„М. б. я изящен и comme il faut в своих писаниях, пишет он около того же времени одной из своих светских корреспонденток, но мое сердце совсем грубое и мои наклонности совсем мещанские (mes inclinaisons toutes tiers état...)".

Характерно, что, параллельно с этим, к самому концу жизни Пушкин и впрямь иронически начинает относиться и к „аристократической" гордости „доброродством", и к тому действительному положению, в котором находятся современные ему носители „Рюриковой крови". В одном из прозаических приступов к „Египетским ночам", относящемся к 1835 г., о будущем Чарском, который по утверждению современников поэта, из всех его героев наиболее с ним сходствовал, он пишет: „Приятель

*) На упрек-призыв Рылеева отвечает, кстати сказать, Пушкин и несколько ранее, в период наибольшего своего „аристократичествования" устами героя „Романа в письмах", Владимира Z.: „Конечно, есть достоинство выше знатности рода,—именно достоинство личное. Я видел родословную Суворова, писанную им самим. Суворов не презирал своим дворянским происхождением. Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами..." [22]).

мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием... Будучи беден, как почти и все наше старинное дворянство, он, подымая нос, уверял, что никогда не женится или возьмет за себя княжну Рюриковой крови, именно одну из княжен Елецких, коих отцы и братья, как известно, ныне запашут сами и, встречаясь друг с другом на своих бороздах, отряхают сохи и говорят: „Бог помочь, князь Антип! Сколько твое княжое здоровье сегодня напахало?“—Спасибо, князь Ерема Авдеевич.— Кроме этой маленькой слабости, которую, впрочем, относим мы к желанию подражать лорду Байрону, приятель мой был... очень хороший человек“...

Эта ласковая усмешка, эта добродушная ирония, столь далекая от, напитанного ядом, сарказма „Моей родословной“, показывает, насколько к этому времени Пушкин отошел от своего бывалого дворянского самочувствия, на которое он мог теперь глядеть со стороны, как на об'ект художественной зарисовки.

И подобно тому как скорбь над судьбой бедного, бедного Евгения в Медном Всаднике разрешается ослепительным видением „Петра творенья“, „города над морем“, вознесшегося „из тмы лесов“, „из топи блат“,— так, грустя над умиранием дворянской Москвы, Пушкин утешается картиной новой социальной жизни, возникающей у „гробового входа“, на развалинах того класса, которому он сам принадлежал по рождению и гибель которого пережил так остро и тяжело:

„Но Москва, утративши свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силою. Купечество богатеет и начинает

селиться в палатах, покидаемых дворянством.—С другой стороны просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова" (Мысли на дороге 1833—35).

15

В художественном творчестве Пушкина эта классовая и социологическая умиренность, смирение перед лицом исторической и социальной необходимости—сказались в общей эволюции его от романтических Пленников, Алеко, к „смиренным" героям его позднейших произведений—таким же, как и он, „аристократам" по крови, „мещанам" по своему непосредственному социальному бытию—„кроткому" Ивану Петровичу Белкину, „ничтожному коллежскому регистратору"—Езерскому, бедному петербургскому чиновнику—Евгению из Медного Всадника и др.

Особенно показателен в этом отношении процесс творческой работы над Медным Всадником.

По началу Пушкин хотел изобразить в своем герое богатого, светского дэнди, вроде Онегина, хотел подробнейшим образом остановиться на его родословной. В дальнейшем процессе работы, однако, все это Пушкиным было откинуто (наброски родословной — сколок с Моей родословной 1830 г.—составили особое стихотворение—Родословная моего героя). Наоборот, Пушкин постарался всячески обезличить Евгения, превратив его в самого захудалого и рядового Петербургского чинушу, „гражданина столичного, каких встречаете вы тьму", но, однако, почел необходимым сохранить указание, что по крови он принадлежал нашему „старинному дворянству".

Этот „ничтожный Петербургский чиновник“, с его „мелкими мечтами о личном мещанском счастье“, как характеризуют его позднейшие исследователи Пушкинского творчества [22]) был, однако, в это время одним из наиболее близких Пушкину его героев.

Если мы обратимся к переписке и другим произведениям Пушкина этого периода, мы убедимся, что эти „мелкие мечты“ Евгения о „личном мещанском счастье“—

Тут он разнежился сердечно
И размечтался, как поэт:
„Жениться? Что ж? Зачем же нет?
И в самом деле? я устрою
Себе смиренный уголок
И в нем Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшок,
Да сам большой... чего мне боле?
. . . . . .
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба
И внуки нас похоронят...

совпадают с интимнейшими желаниями самого Пушкина, смирившего „высокопарные мечтанья“ „своей весны“, „угомонившего спесь крови“, постигшего, что „нет счастья кроме, как на обыкновенных путях“, ценой этих обыкновенных путей выкупающего то, что представлялось ему самым важным здесь на земле,—покой и волю—независимость и право на свободный творческий труд*).

*) Подробнее см. вышеуказанную нашу статью о Медном Всаднике.

16

Таковы были окончательные личные и социальные идеалы зрелого Пушкина в последние годы его жизни. Действительность, как мы знаем, в осуществлении этих идеалов ему наотрез отказала.

Как не дано было ему „прадедовских вотчин с соловьями и с медведями“, куда мог бы он „удрать, да жить барином“, „помещиком“, так не удалось ему зажить и „en bourgeois“, „писателем-мещанином“, принадлежащим к „среднему состоянию“, „почтенному, трудолюбивому и просвещенному“ состоянию литераторов, „грамотеев“.

Последние годы своей жизни провел он при дворе, на столь ненавистной ему службе, в среде столь ненавидимой им „аристократии чиновной“, „светской черни“, представителей новых родов, новой знати, рукой Дантеса отомстивших ему и за его нынешнее, с их точки зрения, социальное ничтожество и за его шестисотлетнюю родословную.

17

Таков был в основных чертах процесс классового самосознания Пушкина, процесс чрезвычайно сложный, процесс, даваемая нами схема которого далеко не покрывает всей этой сложности, намечая только основные его черты.

Эта сложность классового сознания в Пушкине об'ясняется не только крайней сложностью и богатством его индивидуальности, но и свойствами той исторической и социальной действительности, с коей он был связан.

Классовое сознание представителей XVIII века—этого периода наивысшей зрелости, апогея русского дворянства, золотого века его мощи и славы—несомненно отличается куда бо́льшей цельностью, монолитностью, классовым единством, которых так не хватает Пушкину.

Но с первых десятилетий XIX века намечается разложение, ущерб, распад дворянства, начало его конца. К 30-ым годам, по словам социологов, отчетливо обозначается процесс перерождения русского среднего и мелкого дворянства в буржуазию [24]). В нашей работе мы наблюдали этот об'ективный процесс перерождения дворянства в буржуазию в его суб'ективном переживании гениальным сознанием величайшего представителя не только своего времени, но и всей русской культуры вообще.

Конечно, в Пушкине процесс этот, повторяем, гораздо сложнее голой социологической схемы; в нем одет он всем богатством и неисчерпаемым многообразием гениальной личности. Но в основных чертах между ним и этой схемой—полное соответствие.

От широкого, расплывчатого, лишенного твердого и определившегося содержания демократизма Александровской эпохи, который Пушкин делил со всем своим поколением—поколением декабристов,—он переходит к повышенному переживанию связи своей со старинным родовитым дворянством, с его историческими и социальными судьбами. 1830-ый год—предел в развитии классового дворянского самосознания поэта. Но в этом предельном развитии его лежит уже и начало ущерба. Пушкин с полной ясностью отдает себе отчет в исторической обреченности дворянства. И тут то и развертывается колоссальная жизненная, в самом непосредственном значении

этого слова, сила поэта. Он не только принимает эту гибель, как историческую необходимость, но и уходит из-под обломков падающего класса, ищет и идеологически прилепиться к новой социальной группе, только вступающей на арену истории—„третьему состоянию", „мещанству", как он его называет,—мелкобуржуазной интеллигенции, как скажем мы сейчас,—группе, которой он уже почти принадлежит по своему социальному бытию.

И только что описанный процесс носит у Пушкина не отвлеченный, местный, а чисто общий, органический характер.

В своем общеисторическом и политическом миросозерцании он идет параллельными путями и приходит к тем же результатам. От оппозиции правительству, от либерализма и стремлений к широкой политической свободе он приходит к полному признанию исторической закономерности совершающегося, к признанию антиисторическими попыток, подобных восстанию декабристов, нарушить его, приходит к просвещенному консерватизму „Мыслей на дороге".

По тем же основным линиям совершается литературно-творческая его эволюция.

Характерно, что большинство его статей, посвященных прояснению его дворянской идеологии, его классовым переживаниям, как и ряд художественных набросков, разрабатывающих ту же тему,—были Пушкиным неопубликованы и даже незакончены. Они были как бы теми лесами, которые Пушкин отбросил от завершенного здания своего творчества. Но работа мысли и чувства, которая создавала все эти фрагменты, отрывки и планы, не пропала даром. Те же самые проблемы, которые волновали Пушкина во всех этих membra disjecta, наличе-

ствуют и в его художественных произведениях; только они подняты там на высоту глубочайших философских обобщений, одеты живой игрой, всеми трепетами, всеми красками и лучами художественных образов, лишены той логической и социологической обнаженности, которая присуща первым.

Но, повторяем, и в его творческой эволюции совершается тот же органический процесс, который мы рассмотрели по линии его классового самосознания.

От байронических поэм эпохи своего молодого либерализма идет он к своеобразному „декадентству", к осенним, ущербным мотивам Болдинского периода, к повышенному субъективизму и психологизму „маленьких трагедий"—зерну, из которого выростает творчество Достоевского. И подобно тому как бежит он, как „безумия", революционных попыток декабристов, нарушающих, как ему кажется, цельность и органичность исторического процесса; подобно тому, как стремится избежать исторической гибели, сужденной дворянству, переходя в ряды „bourgeois",—разночинной мелко-буржуазной интеллигенции,—подобно этому безумием и гибелью предстает ему и дальнейшее следование его, как человека и художника, теми путями, на которые он стал в „маленьких трагедиях" и в Болдинской лирике.

„Не дай мне бог сойти с ума" — это его замечательное стихотворение, написанное одновременно с Медным Всадником,—вот единый ответ, который дает могуче-жизненное, исполненное до краев инстинкта самосохранения, сознание Пушкина различным голосам, идущим к нему из сфер социологии, политики, наконец, из глубин его собственной душевности.

Переход от „маленьких трагедий" к „смиренному" ре-

ализму, к широчайшему приятию действительности Повестей Белкина и Капитанской дочки продиктован тем же смирением, примирением Пушкина с жизнью, с реальностью, как и эволюция его классового сознания и развитие его историко-политических воззрений.

Здесь мы можем только в самых общих чертах указать на наличие в Пушкине такой художественной эволюции. Подробное рассмотрение ее составляет предмет нашего дальнейшего исследования и будет дано в последующих выпусках.

Примечания.

1) См. Б. Энгельгардт. Историзм Пушкина, сборн. „Пушкинист", под ред. проф. Венгерова, вып. II.; проф. П. Н. Сакулин—Пушкин, историко-литературные эскизы, М., 1920 стр., 52—53 (здесь и краткая история вопроса) и др.

2) В рукописях Пушкина сохранился еще целый ряд набросков, отрывков, материалов и планов, как чисто исторических работ, так и художественных произведений на исторические темы: набросок программы поэмы из русской истории X и XI вв. (1822), программы: поэмы из разбойничьей жизни (1822), Вадима (1822), исторического исследования О Малороссии (1825), драмы из эпохи Царевны Софии (1827), Родословная Пушкиных и Ганнибалов (1830), о дворянстве (1831), набросок „Москва была освобождена" (1831), о приказах (1831), термины соколиной охоты (1831), программа драмы о папессе Иоанне (1833), Материалы для истории Петра Великого (1834), Камчатские дела (1835) и др. Кроме того сохранился список предположенных Пушкиным драм; среди них: Ромул и Рем, Иисус, Беральд Савойский, Павел I, Димитрий и Марина, Курбский.

3) Современники и последующие критики чаще всего склонны были не слишком высоко ставить собственно исторические работы Пушкина. Однако, проф. Фирсов в

своей сопроводительной статье к Истории Пугачевского Бунта (в XI т. Академического издания) берет его под свою защиту, учитывая те условия, в которых работал поэт, и указывая, что в общем он „чрезвычайно тщательно отнесся к несродной его гению роли ученого и дал русской публике хотя и крайне сжатый, но цельный очерк всего Пугачевского движения“ (см. его же статью: „Пушкин, как историк“ в VI т. Венгеровского издания). Не менее авторитетно замечание проф. Ключевского об исторических набросках и высказываниях Пушкина: „рядом с поспешными суждениями встречаем замечания, которые сделали бы честь любому ученому историку“.

4) См., напр., Дневник А. С. Пушкина, Гиз 1923, стр. 50.

5) При цитировании произведений Пушкина нами принимались во внимание тексты изданий: „Просвещения“, под ред. Морозова, Брокгаузовского, под ред. Венгерова, и Госиздата, 1925 г.; в нескольк. случаях текст выверен нами по рукописям. Текст писем дан по Академическому изданию.

6) Об одном из них, думном дворянине Гавриле Григорьевиче Пушкине, сам поэт писал: „Г. Г. Пушкин... принадлежит к числу самых замечательных лиц той эпохи, столь богатой историческими характерами... я изобразил его таким, каким нашел в истории и в моих семейных бумагах“; в другом месте о нем же: „Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию нещастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия, con amore, но, если бы из этого стали заключать о моей дворянской спеси, то“... (фраза не окончена). Признавая за собой законное право гордиться древностью и историческим значением своего рода,

Пушкин, вообще, всегда решительно отстранял от себя упреки в „дворянской спеси“; см. его заметки „новые выходки“... „отчего издателя Литер. Газеты и его сотрудников назыв. аристократами“, „в одной газете“.., отрывок „Гости с'езжались на дачу“, Роман в письмах и мн. др. Между тем, Якушкин, разбирая в рукописи черновые заметки Пушкина по поводу Бориса Годунова, откуда и взята только что приведенная нами цитата, следующую за ней фразу прочел: „изо всех моих подражаний Байрону дворянская спесь была самое смешное“. Несмотря на то, что такая покаянная фраза противоречит всем решительно высказываниям поэта, чтение, предложенное Якушкиным, было усвоено всеми изданиями Пушкина. Между тем, оно по меньшей мере произвольно. В рукописи (тетрадь Ленинск. Публ. Биб. 2732, стр. 44), слово была совершенно неразборчиво. На наш взгляд его можно прочесть и была бы, чтение, которое к тому же прямо диктуется контекстом: написав эту фразу, Пушкин пускается в пространные об'яснения того, почему именно такая спесь была бы смешной: „Аристократию составляет дворянство новое“, „принадлежать старой Аристократии не представляет никакого преимущества в глазах благоразумного человека и уединенное почитание к славе предков может только навлечь нарекание в странном (у Якушкина страшном) безсмыслии или подражании иностранцам“ и т. д.

7) Со стороны матери, Н. О. Ганнибал, поэт принадлежал к военному служилому дворянству. На русской почве род Ганнибалов особой древностью не отличался, восходя к прадеду поэта, знаменитому „арапу Петра Великого“, Абраму Ганнибалу. Выходец из Абиссинии, „арап“ Ганнибал был владетельного княжеского рода, В

своем наброске Родословной Пушкиных и Ганнибалов поэт, отмечая, что его прадед был „сыном владетельного князька“, тут же приводит извлечение из немецкой биографии Абрама Ганнибала, где о нем сказано: „он родом был из Абиссинии, сын в тогдашние времена сильного владельца, столь гордого своим происхождением, что выводил оное прямо от Анибала“. (См. Б. Модзалевский, Родословная Ганнибалов в Летописи истор. родословн. о-ва, вып. 2 (10), 1907, и Ганнибалы, новые данные для их биографии. Пушк. и его современн. вып. XVII—XX.

8) О роде Пушкина см. небольшую, но обстоятельную статью Б. Л. Модзалевского в собр. сочин. Пушкина под ред. Венгерова, т. I.

9) Ср. с воспоминаниями племянника поэта Дельвига, относящимися к несколько более позднему периоду. „С Дельвигом он (Пушкин) был вполне дружен и слушался, когда Дельвиг его удерживал от излишней картежной игры и от слишком частого посещения „знати“, к чему Пушкин был очень склонен“ (Бар. А. И. Дельвиг. Мои воспом. I, 72). В эту же черту характера молодого Пушкина бьет еще более поздний и уж неприкрыто-враждебный выпад Булгарина, выставляющего Пушкина под видом некоего стихотворца, который „бросает рифмами во все священное, чванится пред чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан“ (Северная Пчела, 1830, № 30).

10) Записки декабриста И. И. Горбачевского, 1916, стр. 300.

11) См., напр., статью А. Слонимского „Пушкин и де-

кабрьское движение", сочин. Пушкина под ред. Венгерова т. II, стр. 503—528.

12) Ср. еще письмо к кн. Вяземскому по поводу 2-го издания Руслана и Людмилы и Кавказского Пленника. „Еще одна просьба: есть ли возьмешься за издание—не лукавь со мною, возьми с меня что оно будет стоить—не дари меня—я для того только до сих пор и не хотел иметь с тобою дела, милый мой Аристократ" (Переп. I, 74).

13) „Je ne puis, ni ne veux prétendre, пишет он в замечательном черновике письма к А. И. Казначееву от начала июня 1824 г., à l'amitié du comte Voronzow, encore moins à sa protection; rien que je sache ne dégrade plus que le patronage.... Ladessus j'ai des préjugés démocratiques, qui vaillent bien les préjugés de l'aristocratie..." и дальше: „je suis fatigué de dépendre de la digestion bonne ou mauvaise de tel ou tel chef, je suis ennuyé d'être traité dans ma patrie avec moins d'égard que le premier galopin anglais qui vient promener parmis nous sa platitude et son baragouin" (Переп. I, 114—115).

14) Тут очевидная описка Пушкина. Рылеев, как видно из его письма, упрекал его в чванстве „пятисотлетним" дворянством. Пушкин, который считает свое дворянство древнее, т.-е. как раз шестисотлетним, явно и отвечает ему на этот упрек.

15) Воспоминания о Пушкине М. В. Юзефовича, Русск. Арх. 1880, III, 439.

16) История полемики „о литературной аристократии" достаточно изучена (см. обширную статью В. В. Фишера Пушкин и журнальная полемика его времени в сборн. Истор. Филолог. факульт. СПБ университ. СПБ 1900, 227—328; статью А. Г. Фомина Пуш-

кин и журнальный триумвират 30-ых годов в Венгеровск. собр. сочин. Пушкина, т. V); мы касаемся этой полемики только в той мере, в какой она связана с Пушкиным и непосредственно примыкает к нашей теме.

17) Ксенофонт Полевой, брат Н. Полевого, в своих Записках (СПБ 1888), вообще говоря, явно пристрастно-несправедливых к „боярину" Пушкину и его „партии", „фаланге", в данном случае не без основания спрашивает: „чем это avis au lecteur лучше тех указаний, которыми славился и, наконец, сделался ненавистен впоследствии Булгарин? Разве это не явный донос, не обвинение в распространении революционных мнений"? Пушкин и действительно смотрел на Московский Телеграф, как на орган революционный. Когда в 1834 году журнал Полевого был запрещен, Пушкин записывает в Дневнике: „Телеграф достоин был участи своей; мудрено с большей наглостью проповедывать якобинизм, перед носом Правительства".

18) Характерно, что в этом приписывании Годунову намерения „уничтожить гибельный обычай местничества" Пушкин вполне оригинален. Известия об этом намерении он не только не мог вычитать у Карамзина, но изложению Карамзина оно и прямо противоречит (см. Историю Государства Российского, т. X, стр. 272, след.). Впрочем сам Пушкин по поводу этого писал в заметках, относящихся к Борису Годунову: „Все это драматический вымысел, а не историческое сказание". В „Отрывках из писем, мыслей и замечаний" (1827) по поводу уничтожения местничества он пишет: „юный Феодор, уничтожив сию спесивую дворянскую оппозицию, сделал то, на что не решились ни могучий Иоанн III,

ни нетерпеливый внук его, ни тайно злобствующий Годунов" (курсив наш).

19) Правда, как будто бы можно заподозрить полную искренность высказываний Пушкина царю в докладной записке, поданной со специальной целью побудить его вернуть поэта из ссылки. Однако политическое поправение Пушкина несомненно. Об этом говорят не только Мысли на дороге, с их оправданием крепостного права, цензуры и даже... инквизиции, не только характеристика декабризма в набросках 10-й песни Онегина, не только Медный Всадник, но и полное совпадение мыслей и отдельных выражений и характеристик „докладной записки" с рядом мест из других произведений Пушкина, ни мало не стимулировавшихся теми побуждениями, которые не могли не лежать в основании „записки". Таковы хотя бы характеристики смен эпох в Записке и в начатом через несколько лет Романе в письмах. „Лет 15 тому назад, молодые люди занимались только военною службою, старались отличаться одною светской образованностию или шалостями... Десять лет спустя, мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический... тайные общества, заговоры, замыслы более или менее кровавые и безумные". (О народном воспитании) „Охота тебе корчить г-на Фобласа и вечно возиться с женщинами", пишет „друг" герою романа в письмах, Владимиру Z., как мы видели, являющемуся носителем и выразителем мыслей самого Пушкина. „В этом отношении ты отстал от своего века и сбиваешься на ci-devant гвардии хрипуна 1807 года". „Выговоры твои совершенно несправедливы, отвечает Владимир Z.; не я, но ты отстал от своего века—и целым десятилетием. Твои умозритель-

ные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость правил и политическая экономия были в моде... честь имею донести тебе: теперь это все переменилось. Французская кадриль заменила Адама Смита... Я следую духу времени, но ты неподвижен, ты ci-devant un homme стереотип. Охота тебе сиднем сидеть одному на оппозиционной скамеечке".

20) Черновой конспект подготовлявшейся, но так и ненаписанной Пушкиным статьи о дворянстве, представляет вообще весьма любопытный синтез ранних демократических воззрений Пушкина и его последующих представлений о высокой роли и значении родовитого дворянства; является попыткой подвести под необходимость существования наследственной аристократии (haute noblesse héréditaire) широкое демократическое основание. „Что такое потомственное дворянство, спрашивает Пушкин.—Сословие народа высшее, т.-е., награжденное бо̀льшими преимуществами, касательно собственности и частной свободы.—Кем? — Народом или его представителями.—С какою целью.—С целью иметь мощных защитников (народа) или близких и непосредственных к властям представителей". Далее Пушкин указывает, что наследственность дворянства является гарантией его независимости; существование же независимого дворянства в свою очередь предохраняет от ничем не ограниченного деспотизма (L'hérédité de la haute noblesse est une garantie de son indépendance. Le contraire est nécessairement moyen de tyrannie ou plutôt d'un despotisme lâche et mou). В то же время Пушкин тут же приветствует Николая, пытающегося создать некую плотину с целью воспрепятствовать вторжению в ряды дворянства „демократии, худшей, чем Севе-

ро-Американская“ (d'une démocratie pire que celle de l'Amerique), а одного из представителей такой демократии — Сперанского — именует „поповичем, бесчинным и невежественным (popovitch turbulent et ignare)“, не будучи в силах простить ему указа о гражданских экзаменах 1809 года, как меры „слишком демократической“ (о двойственном отношении Пушкина к Сперанскому см. Дневник Пушкина, Гиз, 1923, стр. 244—249).

21) Подлинник писем по французски.

22) Последние две фразы введены Пушкиным и в набросок его статьи 1830 года „в одной газете, почти оффициальной“.

23) В. Брюсов (Сочин. Пушкина под ред. Венгерова, т. III, 456), П. Морозов (Сочин. Пушкина, изд. Просвещение, т. IV, 243) и др.

24) См. напр. Н. Рожков, „Тридцатые годы“, Современ. Мир, 1916, XII и др. Ср. с соответствующими главами книги В. Львова-Рогачевского „Введение в изучение литературы дореформенной России“; Гиз, 1925, где содержится ряд весьма ценных и вполне справедливых мыслей, как об общем классовом самочувствии Пушкина, так и о позднейшей „буржуазной умонастроенности его“, стр. 32—3, 89—90 и др.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Введение	5
Историзм Пушкина	6
Социальная принадлежность Пушкина	10
Период „вольнолюбивых мечтаний“	12
„Шестисотлетняя родословная“	15
Полемика о „литературной аристократии“	19
Разслоение русского дворянства Пушкиным	24
Переживание социальной обреченности „старинного дворянства“	27
Отношение к „новой знати“	33
Причины упадка дворянства по Пушкину	35
Отношение Пушкина к борьбе „аристократии“ с самодержавием	40
„Смирение“ Пушкина	41
Сдвиг в классовом самосознании Пушкина	45
Профессионализм Пушкина	47
„Я грамотей, я мещанин“	52
От героев романтических к героям „смиренным“	55
Гибель Пушкина	57
Заключение	57
Примечания	62

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00039857529